«Утешайте, утешайте народ Мой , говорит Бог ваш. ... Возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои».

(Ис. 40: 1-2)

«Народ - венец земного цвета
Краса и радость всем цветам:
Не миновать Господня лета
Благоприятного - и нам».

А. Блок.

ЖИВОЕ СЛОВО

Алексей Варламов

ТАИНСТВО

Боже мой, сколько народу», – поудивлял священник, выходя вслед за дьяконом, несущим причастную Чашу, из алтаря и оглядывая скопление людских голов. Половина стояла, разинув рты, другие кланялись, крестились на открывшиеся Царские Врата, и во всем храме висел, подрагивая, легкий гул, отчего-то неприятно напоминавший ожидание театрального спектакля.

– Со стра-ахом Бо-ожиим и ве-ерою приступите! – прогудел дьякон, передавая священнику потир, и народ мигом умолк, точно действо началось. Запел неправдоподобно, концертно громко хор, и когда пение окончилось, священник начал монотонно произносить:

– Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси...

За несколько лет службы в храме у него выработалась привычка: произнося молитву, он отключался, думал о чем-то своем и говорил нужные слова почти машинально.

– ...яко сие есть пречистое Тело Твое и сия есть самая честная Кровь Твоя...

Он чувствовал себя очень усталым: позади был Великий пост, Страстная седмица, с ее долгими службами, утомительным чтением покаянных канонов и Ветхого Завета, коленопреклоненными молитвами, и теперь в Великую субботу накануне Пасхи к этой усталости примешивалось другое ощущение, что пост в который раз прошел для него зря, и к празднику он внутренне не готов.

– ...и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств...

Он кончил, наконец, читать молитву, и его рассеянный взгляд сосредоточился на лицах.

– Сейчас вы будете причащаться, – сказал священник негромко, но отчетливо. – К Чаше подходят только те, кто исповедовался, утром ничего не ел, не пил и не курил. Подходя к причастию, не толкайтесь, называйте громко свои имена, креститься не надо – вы можете случайно задеть Чашу.

Первое время ему было очень неловко говорить изо дня в день эти очевидные вещи, но очень скоро он убедился, что многие из прихожан, если только можно было назвать прихожанами этих людей, были настолько необразованны, что не знали самого простого, не понимали, зачем они причащаются и что это означает, и к причастию шли лишь оттого, что так было принято. В глубине души он немного презирал этих суетливых, подобострастных женщин, непомерно толстых, самоуверенных, похожих на рыночных торговок, которые выстроились к нему в бесформенную очередь и как в очереди подталкивали друг друга, опасаясь, что им не хватит. Священник глядел на них с амвона и с тоской думал о том, что хорошо бы ему было служить не в этой церкви в неуютном новом микрорайоне, а в приличном месте – на Ордынке, в Обыденской, или на Неждановой, где собирается интеллигенция и куда он сам бегал, будучи студентом.

– Причащается раба Божия... Имя?

– Анна, – торопливо сказала старуха в белом платке, из тех, что всегда норовят успеть первыми и всех задерживают.

«Как же они бестолковы».

– Раба Божия Анна во исцеление души и тела. Причащается раба Божия Ольга, раба Божия Наталья...

Они подходили к Чаше одна за другой, сложив крестообразно руки на груди, открывали рты, и священник опускал ложечку со Святыми Дарами, но мысленно был по-прежнему где-то далеко.

Священником он стал случайно. Из любопытства или же из стремления как-то утвердиться, казаться самому себе интересным и быть не похожим на других, еще учась в университете, начал ходить в храм, увлекся религиозными философами, но менее всего думал, что он, выросший в благополучной интеллигентной семье, не атеистической и не религиозной, станет попом. По окончании университета попал в редакцию, но там было тоскливо, он чувствовал, что способен на большее, чем проверять цитаты к чужим статьям и составлять никому не нужные аннотации. Самостоятельной же работы не было и не предвиделось, и самым близким друзьям стал он толковать о нише, укромном месте, куда можно забиться и заниматься своими делами, читать хорошие книги, пописывать что-нибудь самому и не видеть всей это мерзости – собраний, субботников, профсоюзов, общественной работы. Но дальше разговоров не шло и никогда бы не пошло, если бы совершенно случайно он не познакомился с человеком, работавшим в издательском отделе патриархии, который и предложил ему перейти к ним.

Он долго колебался, понимая, что согласиться значит сжечь все мосты и лишиться всякой надежды на обыкновенную карьеру, но в конце концов убедил себя, что иначе задохнется, так больше жить нельзя, и ушел в издательский отдел. А там его ждала другая карьера: закончил экстерном семинарию и через некоторое время был рукоположен в сан.

Поначалу этот крутой жизненный перелом очень возвысил его в собственных глазах и в глазах его друзей, но очень скоро новое поприще его разочаровало. Здесь было совсем не то, о чем он мечтал – а мечтал он о благолепии, покое, святости. Здесь плелись те же, но еще более тонкие интриги, еще больше требовалось умение ладить с начальством, и он чувствовал себя гораздо менее защищенным, чем прежде, потому что, смешно сказать, здесь не было обрыдших, но, оказывается, нужных месткомов, дававших мало-мальскую уверенность, что завтра тебя не переведут в другое место. С людьми в этом мире поступали безжалостно и круто, хорошо зная, что уходить отсюда некуда и все они тут заложники. Так во всяком случае виделось это ему, и, мечтавший освободиться от условностей и чинопочитания, почувствовать себя вольным человеком, он оказался еще более повязанным, чем прежде. И ему только и оставалось почитывать мстительно сочинения графа Толстого и лесковские «Мелочи архиерейской жизни» и подумывать о том, что он также когда-нибудь соберется и опишет их нравы.

Рядом с ним стоял дьякон – невысокого роста плотный мужчина с надменным лицом и гладко зачесанными, блестевшими от масла волосами. Дьякона священник звал про себя солдафоном за властный и грубый характер. При дряхлом настоятеле, проводившем большую часть времени в болезнях, дьякон ощущал себя в храме хозяином, он прекрасно ладил с церковным старостой, все перед ним заискивали, и священнику постоянно казалось, что дьякон, сговорившись с двадцаткой, замышляет что-то недоброе. Если бы не этот страх, священник, может быть, и попытался бы как-нибудь себя проявить, читал бы проповеди и на эти проповеди собирались бы приличные люди – все ж он был умным человеком и имел университетское образование, – но он постоянно ловил на себе этот презрительный взгляд дьячка – взгляд люмпена на интеллигента: выскочить хочешь? – И стушевывался. Что стоило тому же дьякону подговорить двадцатку написать жалобу, и никто и разбираться бы не стал, его мигом бы перевели, ни о чем не спрашивая, куда-нибудь в Коломну.

Очередь к чаще не убывала, люди все шли и шли, торопясь причаститься перед Пасхой.

– Причащается раба Божия Ксения, причащается раба Божия Людмила, раба Божия Ирина... Любовь, Михаил, Софья, Анна, Андрей, Катерина...

Иных он знал в лицо, иных видел впервые, но ему казалось, что все эти Анны, Любови, Надежды разевают рты с таким видом, будто здесь не совершается величайшее таинство православной веры, а им просто кладут в рот лекарство. Причастившись же, они отходили к своим кошелкам с куличами и крашеными яйцами и ждали одного; скорей бы служба закончилась, он побрызгал бы на их кулинарию святой водичкой, и они тогда пойдут по домам, упиваясь собственной святостью и высокомерно глядя на окружающий мир, погрязший в грехах.

«Несчастная страна, даже здесь ничего не осталось, верно, сам Господь тебя покинул, и значит, действительно никакого таинства нет, все мертво – наша вера, наша жизнь, наши души, а хлеб в чаше так и остается хлебом и вино – вином. Мы просто соблюдаем никому не нужные приличия...» И даже у него самого нет свободы, иначе, видит Бог, он бы давно перестал играть в эти игры, плюнул бы на все и уехал куда-нибудь на Алтай, где чисто, зелено и никто тебя не трогает.

– Раба Божия Антонина во исцеление души и тела, раба Божия Таисия, раба Божия...

В этот момент случилась небольшая заминка. К Чаше подходила женщина лет пятидесяти, которую священник видел впервые. Она смотрела на Чашу расширенными глазами, что-то шептали ее губы, а в руках у нее была сумка, и тут дьякон, любивший во всем порядок, прогремел ей прямо в ухо:

– Руки, руки, где у тебя?

Она вздрогнула, точно ее ударили, хлебнула ртом воздух и стала беспомощно взмахивать руками.

– Да не так, – сказал дьякон с досадой, – левую сначала, а потом правую. Что ж ты, мать, дожила до седин, а как к Чаше подойти, не знаешь?

Женщина попыталась сложить руки, как он сказал, но мешала сумка.

– Куда с сумкой-то приперлась? Оставить что ль нельзя было? Боишься, украдут?

«А могли бы и украсть, – равнодушно подумал священник; глядя, как дьякон воюет с женщиной, – случай такой уже был. Милиция приходила. Тут все может быть».

– Да поставь ты ее. Так. Одну руку сюда, другую сюда. Ну? Имя?

– А? а? – бессмысленно разевая рот, произносила женщина, ее всю трясло.

– Зовут тебя как?

– Нн..., нн...

– Наталья?

– Нн..., – замотала она головой.

– Тьфу ты, - едва не чертыхнулся дьякон надо ж, имя свое забыла. Тетка, ты хоть, где находишься, помнишь? Ну давай, давай, бери свою кошелку и ступай. В другой раз придешь. Следующая.

– Анастасия.

– Причащается раба Божия Анастасия, – автоматически сказал священник, но глаза его следили за незадачливой женщиной, пробиравшейся к выходу. Ее толкали люди, а она совсем потерялась и пошла не в тот узкий проход, по которому шли причастники, а вломилась в самую толпу и до священника долетало:

– Божинька, Божинька, что делать-то? Грех-то какой, Божинька.

– Да куда ж ты прешь, а?

– Божинька, как же я теперь буду?

– Ступайте, женщина, ступайте.

Она дошла наконец до выхода, исчезла за дверью, и тут священника точно что-то толкнуло, и на мгновение все открылось ему, полоснуло по глазам резким светом. Он снова увидел перед собой ту женщину, ее бескровное лицо, молящие глаза, крупные натруженные руки, сжимающие сумку, и с этим всю ее жизнь – непосильную, замордованную, в которой не было времени, чтобы остановиться и себя вспомнить – голод, нужда, война, снова голод и так изо дня в день, только одно воспоминание, как в детстве мать перед Пасхой к причастию водила, как яйца красили, как кулич пекли, как боязно было, когда батюшка на исповеди широким черным рукавом голову покрывал. И вот теперь мужа схоронив, вспомнила она и пошла в храм, страшно было после стольких-то лет, но услышала в себе этот робкий нежный зов – «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные» – и пришла к таинству, к Телу и Крове Христовой, только вот как руки правильно сложить позабыла...

«Господи, что же я наделал-то?» – мелькнуло в голове.

Он замер, замерла его рука, в которой была Чаша, и другая, с ложечкой, тоже замерла, на него удивленно посмотрел дьякон, блестя маслеными волосами, а священник уже тронулся с места и вломился в толпу людей, через которую только что пробиралась женщина. Народ тотчас же расступился, пропуская его. Он шел среди притихших людей, очень высокий, в фелони, ему кланялись, прикладывались к руке, и ему казалось, что он идет очень долго, но вот наконец он вышел и оказался с Чашей в руках на улице.

Сразу же за церковной оградой начинался бульвар и с ним другой мир. Был хороший апрельский день, мужчины и женщины в ярких куртках сгребали и жгли прошлогодние листья, выгуливали малышей мамаши, из магазина люди несли сетки с мятой картошкой и ранним дорогим перцем, играла по случаю субботника веселая музыка, через голые деревья и ограду храма летела весенняя пыль, и священник не сразу разглядел женщину в толпе.

Он пошел за нею и хотел было окликнуть, но не знал, как позвать, и тогда просто обогнал ее.

– А, батюшка, – заплакала она, увидев его перед собою, – простите, батюшка.

Вокруг собрались праздные прохожие, мальчишки на велосипедах, какие-то молодые люди в спортивных костюмах, и все смотрели с недоумением на высокого молодого попа и полную женщину с сумкой в руках. Тогда священник, судорожно сглотнув, глядя прямо в глаза женщине, стал говорить:

– Причащается раба Божия...

– Мария, – еле слышно вымолвила та, и на глазах у нее снова появились слезы.

– Мария, – как эхо отозвался священник. – Честнаго и Животворящаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов ея и в жизнь вечную. Аминь.

– Она поцеловала край Чаши, и когда подняла голову, то священник вздрогнул, увидев это преобразившееся, счастливое лицо, и неожиданно для самого себя тихо сказал:

– Молись за меня грешного, Мария.

И на мгновение все поплыло у него перед глазами, странным и нереальным показался этот мир, столпившиеся вокруг него люди с граблями и лопатами, он молчал, и они тоже молча глядели на него, точно чего-то ожидая, но священник повернулся и пошел обратно. Он чувствовал в душе необычайное какое-то волнение и, может быть, поэтому совсем не замечал тех взглядов, которые искоса бросали на него дьякон и церковный староста – представительный мужчина в черном костюме и галстуке.